

Бремя памяти

Жак Ревель

Жак Ревель (Jacques Revel), род. 1942 – доктор исторических наук, с 1975 г. – один из редакторов легендарного журнала «Анналы». 1995-2004 – президент, а ныне профессор Высшей школы социальных исследований (Ecole des hautes études en sciences sociales – EHESS). Автор многочисленных работ, среди которых:

- Histoire de la France. Dir. Jacques Revel, André Burguière. – Paris : Seuil, 1989 – 1990;
- Jeux d'échelles: la micro-analyse à l'expérience. Dir. Jacques Revel. – Paris: Gallimard, le Seuil, 1996 ;
- La Nouvelle histoire (Philippe Ariès, Guy Bois, André Burguière, Jean Lacouture, etc.). Dir. Jacques Le Goff, Roger Chartier, Jacques Revel. – Paris: Retz-C.E.P.L., 1978 ;
- Un parcours critique: douze exercices d'histoire sociale. – Paris: Galaade, 2006
- Les usages politiques du passé. Dir. François Hartog, Jacques Revel. – Paris: École des hautes études en sciences sociales, 2001

До совсем недавнего времени об историческом опыте Франции и памяти, которая была его носителем, размышляли лишь в терминах истории; эта история не осмысливалась как угодно: во всем своем разнообразии и противоречиях, она имела свои формы и повиновалась определенным правилам.

Многое изменилось с тех пор. Слегка упрощая, можно сказать, что Франция превратилась за последнее двадцатилетие в место проведения кампании памяти – процветающей и многообразной. Добрая половина нашей традиционной нарциссистской деятельности – а также нашего эмоционального вклада – обнаруживает себя именно в производстве памяти во всех ее формах. Опять-таки упрощая, я бы выделил три основные формы этой деятельности¹.

1. Первая, наверное, самая заметная, это ознаменование памяти, дань памяти (*commémoration*). Этот конец века свидетельствовал об умножении поводов к празднованию ключевых фактов нашего прошлого. Мне могут возразить, что эти празднования касаются объективных данных-событий, накапливающих в течение нескольких лет поводы к празднованию. Я в это совершенно не верю, достаточно сравнить конец XX века с концом XIX, чтобы в этом убедиться. Без сомнений, можно было закономерно ожидать, что двухсотлетие Французской революции будет отмечаться с таким же размахом в 1989, что и столетием раньше в 1889. Но кто мог предвидеть, что каждый год конца XX века принесет свой набор обязательных празднований? 1985 будет посвящено отмене Нантского эдикта²; 1986 – 40-летию Народного фронта; 1987 – тысячелетию Капетингов; 1988 – 20-летию событий мая 1968-го; 1990 – столетию генерала де Голля? В 1994 году мы одновременно вспоминали Термидор, дело Дрейфуса и сорок лет деятельности аббата Пьера. В 1996 году празднование пятнадцати столетий крещения Хлодвиг пробудило такие страсти, что стало (почти) государственным делом. В 1998 – столетием годовщины отмены

¹ Я отсылаю читателей к выводу П.Нора в последнем томе *Lieux de mémoires*, Paris, Gallimard, 1992, t. III, *Les France*, vol. 3, p. 975-1012, sous le titre « L'ère de la commémoration ».

² Нантский эдикт, подписанный в 1598 г. французским королем Генрихом IV, положил конец религиозным войнам XVI в. во Франции и фактически предоставил протестантам равные с католиками права. После нескольких попыток отмены, Нантский эдикт был окончательно аннулирован Людовиком XIV в 1685 г., вызвав обширную волну эмиграции гугенотов (прим. переводчика)

рабства, а также восьмидесятилетие конца Великой войны³. Все это касается самых заметных событий. Делегация по национальным празднованиям, которая относится к Министерству культуры, публикует сегодня ежегодную книгу, куда заносятся сотни всевозможных празднований памяти, больших и малых, национальных и местных, подчеркивающих наш национальный опыт. Пантеон был вновь открыт в исключительном случае, чтобы принять Жана Мулана в 1964 г. Вначале он уже принял четырех покойных с 1987 г., затем Марию Кюри и, в 1996, Андре Мальро. Мне даже нет необходимости напоминать, что именно этот храм национальной памяти Франсуа Миттеран избрал для символической инаугурации при своем вступлении на пост президента, знаменуя свою деятельность как большей частью направленную на празднование памяти.

2. Вторая форма, столь же очевидная, это деятельность по сохранению исторического наследия (*patrimonialisation*). Термин *patrimoine* (наследие, достояние) прошел во Франции весьма знаменательные семантические преобразования. Традиционно, он означал имущество, хранившееся и передававшееся в рамках семьи. Таким образом, и сегодня он невольно ассоциируется с чем-то подобным коллективной собственности французов. Может показаться почти случайным, что при Валери Жискар д'Эстене 1980 год был объявлен Годом Наследия во Франции, после аналогичных Года Женщины и Года Ребенка. Все же в такие случайности верить нельзя, тем более, что в это время сама идея (*наследия* – прим. перев.) приобретает характер постоянства и последовательности. Последовательности административной, безусловно, но, кроме того, последовательности идеологической и эмоциональной. И все это происходит так, как если бы у французов постепенно вошло в привычку рассматривать совокупность бесконечно разнообразных «следов» их коллективного опыта как сокровище, которое необходимо без промедления сохранять и защищать, как основу, дающую им корни. Подобное усердие, впрочем, достаточно симпатичное, нашло выражение в весьма разнообразных формах: от охраны природных заповедников до защиты произведений, созданных человеком. В своей основе эти усилия неотделимы от огромного по своему масштабу музеографического проекта. Считается, что в 1980-е годы во Франции открывалось по одному музею в день. Эта цифра, вероятно, преувеличена, да и в любом случае ее невозможно проверить, но главное, что обращение к музею помогло переоткрыть реальности, различные по своей важности и природе. Даже в самом своем преувеличении эта цифра свидетельствует о переживаемом французами осознании изменения своего отношения ко времени. Это изменение влияет и на само настоящее, поскольку зачастую именно следы опыта, хронологически наиболее близкого нам, мы стараемся сохранить. Став музеографом, наше общество также стало и архивистом: оно старается, как никакое другое общество прежде, сохранить все, что представляет собой сущность того, чем оно является теперь.

3. Третьей формой является производство памяти и введение того, что можно назвать новым *режимом памяти*. Разумеется, жанр мемуаров не был изобретен в последнюю четверть XX века, однако именно в это время он был приумножен и трансформирован. Откуда бы они ни исходили, свидетельства от первого лица традиционно понимались как интеллектуальный вклад в коллективный опыт. Таково было правило для мемуаров великих людей, это подразумевалось само собой. Но подобный урок был в силе также и для тех, чей путь рассматривался как модель с точки зрения всех перспектив общества, связанных с *общей* судьбой. Так было в случае, например, со многими автобиографиями рабочих XIX в., деятелей XX в. То же, что мы ожидаем от этих свидетельств памяти сегодня, – это, напротив, утверждение

³ Первая мировая война (прим. переводчика).

неизбежных *различий* и сущностного *разнообразия* национального сообщества. Мемуары протестантов, евреев, итальянцев, поляков, испанцев, португальцев, а также окситанские, британские, эльзасские воспоминания, приумноженные за последние 15 лет (всего за одно поколение)... Мы больше не хотим знать, как все эти их носители *стали* французами; мы жаждем понять, как они *остались* тем, чем они являются в своих различиях внутри целого – Франции. Здесь в большинстве случаев нет ничего из того, что было бы нормальным, знакомым иностранному наблюдателю. Французская модель интеграции или ассимиляции долгое время отрицала все особенности во имя дефиниции гражданства, бывшей одновременно и универсальной и абстрактной. Утверждение, требование, стимулирование особенностей в мемуарах стало своеобразным способом переформулировки социальных связей, являвшейся, в свою очередь, знаком глубоких изменений.

Но здесь скрывается нечто большее. Это, в каком то смысле все наше отношение к прошлому, которое имеет тенденцию к восстановлению посредством своего измерения в виде памяти. Это относится и к давнему прошлому, все более и более проживаемому, я повторяю, как модель «мира, который мы потеряли»: это мир «Монтайю» и «Коня гордыни» – двух огромных успехов 1975 года⁴.

Это относится и к недавнему прошлому, и в особенности, к «прошлому, которое не желает проходить», если воспользоваться ставшей теперь классической формулировкой Анри Руссо, сделанной им по поводу Виши. Действительно, Виши является символическим примером. Его история, долгое время отрицаемая, вначале была нам возвращена американским историком Робертом Пакстоном и канадским историком Мишелем Марру. Это запоздало принятое нами сознание, тем не менее, не мешало нам жить с этим старым призраком, притворяясь, что его нет. Франсуа Артог напоминает, что в 1972 г. фильм «Печаль и жалость» (*Le chagrin et la pitié*) лишь начинал работу памяти, в то время как президент Помпиду все еще мог демонстрировать коллаборациониста Поля Тувье, не провоцируя волнения среди населения, за исключением узкого круга активистов, сыновей и дочерей депортированных. Сильно ли мы преувеличим, если предположим, что если Тувье в конце концов судили – не без трудностей – в 1994 г., или если бы Бускье могли бы судить, и если бы Папо был бы судим несмотря на все противоречия, – было бы это в большей степени заслугой коллективной памяти, нежели работой профессиональных историков, которые это должны делать по роду своей деятельности?

В фактах – то есть в опыте современников – эти три модальности взаимопересекаются. Я полагаю, что речь здесь идет о мощном движении внутри нашего общества, и никто не может предвидеть, как долго оно будет длиться. Историки его открыли, они ему иногда следовали и они его тематизировали в зависимости от того, касается ли оно празднований-ознаменований, сохранения наследия или производства памяти. Они его вовсе не изобрели. Дальше всех из них в деле исследования этого весьма особенного отношения к прошлому пошел, безусловно, Пьер Нора, сумевший вовлечь сто тридцать своих коллег в грандиозное предприятие

⁴ E. Le Roy Ladurie, *Montaillou, village occitan de 1294 à 1324*, Paris, Gallimard, 1995 ; Русское изд.: Э. Ле Руа Ладюри. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324) / Пер. с франц. В.А.Бабинцева и Я.Ю.Старцева. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. - 544 с.); P. Jakez Helias, *Le Cheval d'Orgueil, Mémoires d'un breton du pays bigouden*, Paris, Plon, 1975. Я напоминаю, что фраза «мир, который мы потеряли» была сформулирована в книге британского историка П.Ласлетта (Peter Laslett, *Un monde que nous avons perdu : familles, communautés et structures sociales pré-industrielles* (1965), trad. française, Paris, Flammarion, 1969), посвященной доиндустриальным обществам..

«Мест памяти» (*Lieux de mémoire*). Семь томов, публиковавшихся в течение 1984-1992 гг., более чем пять тысяч страниц – речь здесь идет о важнейшем проекте, наиболее решительно встретившем лицом к лицу этот поворот в памяти. Однако, как совершенно ясно признавал сам Нора, проект был деформирован самим своим успехом, и даже еще глубже, ожиданием, которое он пробудил. Моделирование мест и форм по республиканскому образцу, составляющее содержание первого тома, названного соответственно – Республика, – прошло спустя три года переустановку акцентов на Nation. В трёх последних огромных томах *Франции* места памяти еще более умножились и рассеялись. Они больше не составляют «костяк истории», если следовать формуле Нора, а представляют обширную попытку спасения «фрагментов опыта, рассеяного во времени». Такая попытка «схватить» социальное и чувственное, как это тонко заметил Артог, может напоминать «поиски утраченного» М.Пруста⁵.

Обнаружение этой памяти имеет и иные эффекты. Например, она имеет тенденцию делать «каждого историком самого себя». Еще одним опытом этой глобальной мутации является то, что за время, прошедшее с момента публикации первого тома и до последнего тома «Мест памяти», термин «место памяти» прочно вошел в разговорный язык. Принятый Робером⁶, а затем и администрацией в области культуры, этот термин служит отныне для обозначения всего того, что необходимо спасти от забвения и разрушения. Все есть в дне сегодняшнем, все может быть и все может стать местом памяти.

Момент, который я сейчас кратко описываю и который нас окружает, не является исключительно французским. Ему можно найти параллели в большинстве развитых обществ. Однако у нас он принял огромный, и как мне кажется, уникальный масштаб, поскольку в определенной степени он порвал достаточно жестко с очень давней и, наверное, единственной традицией национальной истории – «истории Франции», как ее обычно называют. Именно на этой традиции мы сейчас остановимся.

*

* *

Следует признать: Франция поддерживает со своим прошлым странные отношения – требовательные и обеспокоенные одновременно. Начиная со Средневековья, «роман о нации» был предназначен для выполнения тройственной функции: он должен был утверждать идентичность; он служил гарантом последовательности, преемственности (*continuité*); он поддерживал общность судеб. В счастливые моменты История Франции подавала примеры. В несчастье и горе она могла служить утешением – и она действительно давала утешение и надежду. Посредством этих трех измерений: идентичность, преемственность, общность судеб, – и через их переодическую переоценку и пересечения, восприятие времени и исторический опыт проходили в веках.

Идентичность. Идентификация Франции-личности наблюдается весьма рано. Колетт Бон показала, как она имела тенденцию принимать человеческие очертания – *Domina Francia* – в момент, когда история Франции начинала свое автономное развитие как жанр⁷. В 1274 г. монах Примá (Примат) выражает это в начале Больших хроник⁸:

⁵ F. Hartog, « Temps et histoire. Comment écrire l'histoire de France ? », *Annales, H.S.S.*, 6, 1995, p. 1219-1236.

⁶ Robert – словарь французского языка (прим. переводчика).

⁷ C. Beaune, *Naissance de la nation France*, Paris, Gallimard, 1985

« Et quoique cette nation soit fière et cruelle contre ses ennemis, selon ce que le nom signifie, elle est miséricordieuse envers ses sujets et ceux qu'elle soumet [...] Aussi ne fut-elle pas sans raison *dame renommée* sur les autres nations [...] »⁹.

На протяжении времени эта аллегория нашла еще более глубокое воплощение. Францию комментируют, ее ищут, ее успокаивают, ее воодушевляют, к ней обращаются – вплоть до недавнего времени с его претензией смотреть правде в глаза. Конечно, никто, кроме Мишле, не сумел так воплотить эту коллективную проекцию, которая его занимала – иногда просто до головокружения: «Англия есть Империя; Германия – это страна, раса; *Франция – это человек. Личность, единица, то, посредством чего человеческое существо помещает себя в масштабе других существ*» (*Tableau de la France*, 1831). И в другом знаменитом тексте, включающем его пророческое видение июля 1830, Мишле пишет: «В эти незабываемые дни, пролившие великий свет, я увидел Францию... *Первый, я увидел ее как душу и как человека*»¹⁰.

Преемственность. Это органицистское воображение, или лучше – биографическое, – долгое время проходившее через века, было главным способом выражать и утверждать сущностную преемственность французской судьбы. Детям Третьей Республики учебное пособие для начальной школы – «Малый Лависс» (Эрнест Лависс, 1884) – рассказывало поучительный анекдот, героиней которого была Жанна Д'Арк: «Однажды, чтобы пробудить мужество Карла VII, она рассказала ему о Людовике Святом и Карле Великом. Так, эта дочь народа *знала, что Франция существует с давних времен* и что ее прошлое наполнено великими воспоминаниями»¹¹. Школьные учителя в стране, униженной поражением 1870 г., нуждались в том, чтобы найти в истории для своих учеников те же духовную силу и доверие, которые, согласно этой поучительной истории, сумела почерпнуть пастушка¹². Именно историография Франции от самых своих начал была занята производством и навязыванием генеалогии, делавшей возможным подобный опыт. Здесь обнаруживается решающая важность рассказа, композиция которого служила для того, чтобы придать форму временной последовательности: рассказ об истоках, рассказ о связях и разрывах (должным образом обоснованных); рассказ, функция которого должна была быть в том, чтобы гарантировать существование срока, который стоило сохранять. Срока гомогенного, неотъемлемого и полного уроков. Чтобы убедить учеников начальной школы лучше учиться, Э. Лависс тогда мог их поучать: «*Галлы, ваши предки были храбрыми. Франки, ваши предки были храбрыми*¹³. *Французы, ваши предки были храбрыми*». Таким образом, победа была необходимой составной частью французской судьбы.

⁸ *Les Grandes Chroniques de France* – «Большие французские хроники» -- королевский летописный свод XIII-XV вв. В 1476 г. стал первой печатной книгой Франции (прим. переводчика).

⁹ J. Viard (ed.), *Grandes Chroniques de France*, Paris, Société de l'Histoire de France, 1920-1953, t. 1, p. 14 (Prologue).

¹⁰ J. Michelet, *Tableau de la France*, 1833 (= Histoire de France, tome II), in *Œuvres complètes* (éd. Viallaneix), tome IV, Paris, Flammarion, 1974, p. 383 ; la vision de 1830 qui donne naissance à l'ensemble du projet est rappelée dans la *Préface* à la réédition de *l'Histoire de France* de 1869, *ibid.*, p. 11.

¹¹ E. Lavissee, *Histoire de France*, Cours moyen, Paris, A. Colin, 1884, cité par P. Nora, « Lavissee, instituteur national. Le « Petit Lavissee », évangile de la République », in P. Nora (ed.), *Les lieux de mémoire*, t. 1, *La République*, Paris, Gallimard, 1984, p. 275.

¹² Жанна Д'Арк, согласно распространенной легенде, была пастушкой из деревни Домреми (прим. переводчика)

¹³ E. Lavissee, « L'Ecole d'autrefois et l'Ecole d'aujourd'hui », in *A propos de nos écoles*, Paris, A. Colin, 1895, cité par P. Nora, *ibid.*, p. 282-283.

Общность, сообщество (Communauté). Этот термин должен пониматься двойственно. Во-первых, это общность судеб. Из всей своей длинной истории, из всего своего совместного опыта, который можно проследить от Трои или от Галлии, в зависимости от принимаемого в расчет мифа, французы могли извлечь огромные поводы к тому, чтобы быть вместе: не во имя крови и не во имя земли (тем более, что вписывание себя в эту территорию слишком рано служило пищей всяческим играм ретроспективных пророчеств), но во имя самой этой истории. Мишле сказал об этом в своей, зачастую невыносимой и в то же время неповторимой, манере: «Все, что есть наименее фатального, наиболее человеческого и самого свободного в мире, – это Европа, и самая европейская – это моя родина, Франция». Ренан предложил менее напыщенную версию, которая в то же время артикулировала то же самое, определяя в знаменитом тексте нацию как «спиритуальный принцип», укорененный в коллективном опыте¹⁴.

Уже в этих формулировках мы касаемся второго смысла термина *общность*, который требует для французского общества абсолютной исключительности. У Мишле, как и у Ренана, мы обнаруживаем убеждение, что Франция получила изначально – и ее достижения служили тому доказательством – неповторимую легитимность и несравненное преимущество. Это убеждение на самом деле является весьма древним. Но оно получило вместе с Французской революцией многократно усиленное содержание, средства и эхо, как если бы революционный разрыв – новое начало в человеческом времени, второе рождение, истинная инкарнация, принес, наконец, Франции признание ее предназначения: так сказать, Христос среди других народов. Утверждение универсальности демократии позволило тогда предложить специфически французскую ситуацию в качестве модели для всего человечества. Этому мессианизму суждено было, как мы знаем, выразиться в различных формах: в войнах, в колониализме, а также, более обобщенно и обыденно, – в уверенности французов, что они есть центр мира и его мерило. Франция является страной, которая претендовала на наследование опыта всего человечества в целом (отсюда истоки проекта музея Лувра) и проектировала на это человечество свое собственное будущее – или то будущее, которое, как она верила, откроет во имя всех людей.

Таким образом с течением времени конструировался дискурс самоочевидности, который стал неотделим от национального самоутверждения. Об этом многообразном дискурсе, особенно после дебатов в Третьей Республике, позаботилась школа, в значительной степени усилившая его. И все-таки, о нем необходимо без сомнения говорить уже в прошедшем времени, поскольку этот дискурс находится сегодня в стадии кризиса, а вместе с ним – и нескончаемое основополагающее повествование о нации (*récit fondateur* – в англоязычной литературе «мастер-нарратив» – прим. переводчика).

*

* *

Не хотелось бы преувеличивать важность этого современного кризиса, о симптомах которого я еще напомним. Он действительно в определенный момент исключительно разросся, но сегодня, как это часто случается во Франции, он уже почти забыт. Тем не менее, он имеет показательное значение. Чуть более десяти лет назад (1983-1984) споры о нем мобилизовали и политиков, и ученых Франции. Франция, как тогда казалось совершенно очевидным, находилась в преддверии состояния амнезии.

¹⁴ J. Michelet, *Introduction à l'histoire universelle* (1831), in *Œuvres complètes* (éd. Viellaneix), Paris, Flammarion, 1972, t. II, p. 247. Le texte est rappelé par E. Lavissee dans ses *Souvenirs* (1912), rééd. Par J. et M. Ozouf, Paris, Calmann-Lévy, 1988, p. 284 ; E. Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ? », conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882, in *Œuvres complètes*, Paris, Calmann-Lévy, 1947, t. 1, p. 887-907.

Ее дети больше не знали своей истории или так плохо ее изучали, что не распознавали ни ее нити, ни ее значения. Разрешение этой проблемы стало частью дела самого высшего руководства государства: даже президент (Ф. Миттеран – прим. переводчика) республики высказал однажды свое волнение по этому поводу, а потом всё пошло, как и положено, в иерархическом порядке: министры, политики – все выражали свои чувства. В конце концов слово дали даже преподавателям. Известный историк древности, Пьер Губер, принудил себя к написанию «Введения в историю Франции» (*Initiation à l'histoire de la France*, 1984) с целью «внести вклад в возобновление знания и сознания» родины, которая, как он желал верить, «не находится в состоянии потери того, что вчера называлось ее душой, того, что составляет ее дух»¹⁵. Преподаватели школ и лицеев, конечно, не ждали этих диагностик болезни, но их почти никто не слушал. Все уже было сказано. В соответствии с обычаем Республики, была собрана комиссия. Все это вылилось в реформу (частичную) учебных программ, и я не знаю (боюсь, что и никто не знает), какова была эффективность этой реформы, поскольку сам сюжет, между делом, уже вышел из моды.

И все же я опасаясь иронизировать об этом эпизоде. За пределами этих нелепостей и политических эксплуатаций, которые делали его предметом споров во всех лагерях, на самом деле он имел и важность, и значение – на свой лад, он выразил кризис французской исторической идентичности. Точнее, этот эпизод с реформой выявил глубокий разрыв между заверениями, утешениями, причинами из глубины веков, весьма смутными и запутанными ожиданиями Франции, которую нужно продолжать искать вслепую, и тем старым повествованием о нации, характер и функции которого я резюмировал выше, и который школа в течение долгого столетия сделала своим главным инструментом гражданского обучения. Этот разрыв имеет источником глубокое недомогание. Для Лависса в 1880 г. или для учителя 1920-х гг., которому Пьер Губер посвятил свои благодарные воспоминания, или даже для преподавателей, которые учили мое поколение в 1950-е гг., – для них всех и их учеников повествование о нации выступало в качестве носителя интеллигентности. Оно предполагало перечень ценностей и значений, разделяемых обществом. В наши дни все происходит так, как если бы это перестало быть очевидным. Это утверждение может показаться парадоксальным: французская публика – как, вероятно, и в большинстве западных обществ – никогда прежде не потребляла столько истории, сколько за последние двадцать-двадцать пять лет, в форме книг, фильмов, журналов, образов, музеев. Даже более того, профессиональная история (история знатоков-ученых) нашла среди обычной публики почти чудесный рынок сбыта, как об этом свидетельствуют распространение коллекций и бестселлеров, а также празднований-озаменований. Но такая «встреча» не должна вводить в обман. Под ней скрывается глубокое изменение запросов или ожиданий, и история этого изменения представляется очень важной.

Его объясняет совокупность причин, и его влияние добавляется к тому, чтобы глубоко трансформировать отношения французов со своим прошлым. Именно поэтому, вероятно, нужно с самого начала упоминать об изменении чувствительности, которая за это двадцатилетие превратилась в потерю доверия к тому, что мы долгое время называли смыслом истории. Франция пришла к тому, что признала, что она больше не является очень великой силой, хотя де Голль и прогрессистское движение и замедлило это меланхолическое признание. Конец колониальных войн и тяжелое рождение Третьего Мира, в которые было вложено столько политических надежд, вызвали разочарования среди интеллектуалов. Хаос, который за этим последовал, казался

¹⁵ P. Goubert, *Initiation à l'histoire de la France*, Paris, Taillandier, 1984, p. 11.

оскорблением всему смыслу истории. Мировой экономической спад и необходимость обновлений, которые он предполагал, кризис великих интеллектуальных и идеологических парадигм, – все эти факторы расшатали доверие к реальной истории, казавшееся неоспоримым.¹⁶ «Сегодня» стало неразрешимым, еще более сильным поводом для завтра. Если рискнуть снова предсказывать, то только затем, чтобы объявить о завершении некоторых главных процессов, которые все будут выброшены за борт в третьем тысячелетии. Мы можем жить во времена конца: конца прогресса, конца идеологии, конца крестьянства, конца рабочего класса, конца семьи, в завершение – конца политической «исключительности», который ознаменовал истощение революционного цикла длиной в две сотни лет¹⁷.

Не будем заниматься здесь рассмотрением этих спорных диагнозов, но скорее примем к сведению, что, соединяясь, они закрывают горизонт. Симметрично, что прошлое, которое увлекает публику, это больше не прошлое, несущее убеждения или мобилизующее духовную энергию, – это ностальгические пляжи неподвижной истории, «мир, который мы потеряли». Глубокое время – и время необработанное – без истоков, без направления, становится предметом нового и массового внимания. В нем вновь обнаруживаются формы социального существования, которые долгое время казались незначительными: коллективное поведение, органическая солидарность, способы быть в коллективе, общество без Государства. В этих формах своеобразным эхом отзываются тревоги настоящего. И даже более того, именно прошлое мы пытаемся проживать как уже историю. Пьер Нора справедливо напоминал нам, что мы упорно работаем, чтобы организовать прошлое, которое придет однажды. Без сомнений, мы не первые заняты реорганизацией прошлого, которое оставляем позади. Однако мы, вероятно, первые, кто жаждет предотвратить достаточно радикально работу фильтрации времени. Все еще живые, мы уже «закапываем» себя в историю.

Не только книги, образы, средства массовой информации отвечают этим смутно выражаемым ожиданиям, но и история ученых, нашедшая вне стен школы широкую публику. Не указывают ли и сами тенденции исследований на эту направленность? Этому можно радоваться. Но можно также и осознать, как такая невероятная встреча (ученых и ожиданий публики – прим.перев.) при случае усиливает текущие сомнения. Дискурс и обучение истории долгое время строились как бесконечный комментарий нации. Однако на протяжении половины столетия, и особенно последние двадцать-тридцать лет, этот комментарий все больше преобразовывался и превратился во введение в социальное: больше не Людовик XIV, но жизнь двадцати миллионов французов, если следовать знаменитому названию книги Пьера Губера¹⁸.

Речь идет о глобальном смещении. Великие хронологии, смена королевств и режимов, кардинальные даты, достижения и инновации были, во всяком случае, точными метками на полотне прогресса, который идентифицировался в целом с французской судьбой. Но в виду того, что история Франции становится также – и даже приоритетно – историей форм и семейных структур, историей питания, мечтаний или способов любить, возникает проблема выбора: что есть *важное*, что *имеет смысл*. С отдаленных уроков «Анналов», вкусы публики – иногда сбиваемой с толку школьными учебниками – зачастую извлекали нечто вроде хроники повседневной жизни, как можно ближе к конкретным ситуациям. То, что они не имели ничего особенно общего с

¹⁶ François Furet a très tôt posé les premiers éléments de ce diagnostic dans un article devenu tardivement célèbre, « Les intellectuels français et le structuralisme », publié dans *Preuves*, 12, 1967, p. 3-12, et repris dans F. Furet, *L'Atelier de l'histoire*, Paris, Flammarion, 1982, p. 37-52.

¹⁷ F. Furet, J. Julliard, P. Rosanvallon, *La République du centre. La fin de l'exception française*, Paris, Calmann-Lévy, 1988.

¹⁸ P. Goubert, *Louix XIV et vingt millions de Français*, Paris, Fayard, 1966.

духом «Анналов», не имело значения; то, что педагогический дискурс имел иные цели, чем те, которые предполагала логика исследования, еще больше не имело значения. Их результатом стало выравнивание (упрощение) восприятия времени и относительная дезорганизация исторического дискурса. Если все стало веществом, объектом истории, тогда какую историю мы можем сегодня рассказывать? Старый нарратив больше не возможен. В то же время мы все еще не знаем, чем его заменить, даже тогда – или из-за того, что – наше общество охвачено до опьянения потрясающей жаждой памяти.

Признаемся наконец: и люди нашей профессии подвержены этим треволнениям. Разрастание территории истории было весьма зрелищным. Историческая дисциплина умножила свои объекты, и в то же время она не переставала заимствовать достижения из методологии и сферы интересов социальных наук. Управлять таким ускоренным расширением и организовывать его было трудно, и можно выдвинуть гипотезу о «распаде» истории. Этот диагноз, конечно, еще нужно уточнять, в особенности освободить его от полемических недомолвок, порой затемняющих его. Нужно еще, чтобы он также выразил состояние недомогания, связанное с проблемой: как упорядочить прерывистый, дискретный, фрагментированный пейзаж, предстающий у нас перед глазами в результате исследования? Возможен ли все еще целостный дискурс, и на каких условиях? Эти споры оставляют позади проблему истории Франции. Они выражаются сегодня весьма разнообразными способами, например, через вновь возникший интерес к историографии, или, через многообразные и неуверенные вопросы об исторических жанрах, долгое время не обсуждавшихся: какую историю можно писать? как ее писать? Повествование о нации затронуто, без сомнения, в наибольшей степени этими неуверенностями, поскольку оно не только касается идентичности дисциплины, но и идентичности самого живого общества.

*

* *

Именно как ответ и на эти вопросы, и на эту неуверенность нужно понимать, как мне представляется, недавние попытки переосмысления истории Франции и ее новой организации. Ими я и закончу свой анализ. Поскольку к той немного сумбурной, но я надеюсь, правильной диагностике, которую я здесь предложил, можно добавить умножение историй Франции, начинающееся с 1980 г.

Тем не менее, лишь одна история имеет слово «Франция» в своем названии – та, которую написали Жорж Дюби, Еммануэль Ле Руа Ладюри, Франсуа Фюре и Морис Агюйон, и которая есть по сути политическая история со времен Средневековья по XX век¹⁹. В целом она остается приверженной классической схеме. Но только в целом: том, посвященный Франсуа Фюре Французской революции (*La Révolution*, 1988), позволяет увидеть, как обычное хронологическое полотно может быть перевернуто изнутри²⁰. Другая серия, «История французов», редактируемая И.Лекуаном, решительно выполнена в рамках краткой хронологии, и в частности, социальной истории XIX и XX вв.²¹. Третья, «Места памяти», о сложной конструкции которой я уже упоминал, является также историей, наиболее радикально порвавшей с жанром «истории Франции»: ее структура, построенная на утверждении центральной роли памяти в создании знаковых мест, пунктов истории, делает ее, без сомнения, трудом, ярче всего отражающим тот взрыв интереса к памяти, о котором я говорил в самом начале²².

¹⁹ G. Duby, E. Le Roy Ladurie, F. Furet, M. Agulhon, *Histoire de France illustrée*, Paris, Hachette, 1987-1991, 5 vols.

²⁰ F. Furet, *La Révolution (1770-1880)*, in *Histoire de France...*, cit., Paris, Hachette, 1988.

²¹ Y. Lequin (ed.), *Histoire des Français*, Paris, Flammarion, 1984, 3 vols.

²² P. Nora (ed.), *Les Lieux de mémoires*, op. cit., 1984-1992, 7 vols.

Четвертая была, в каком-то смысле, самой ожидаемой – это история, оставшаяся незавершенной после смерти Фернана Броделя; и у нас есть лишь три тома «Идентичности Франции», опубликованные в 1986 г.²³ Она была самой ожидаемой, т.к. она была работой одного из самых больших историков своего века; она была самой ожидаемой и потому, что ничто не казалось более далеким от интересов и манеры историка Средиземноморья XVIII в. и мира экономики XV-XVIII вв., как узкие и вынужденные рамки национальной истории. Ожидание было ошибочным, поскольку Бродель готовил на протяжении двадцати лет книгу, которую не мог завершить. Ошибочным и потому, что книга была опозданием к битве: даже открывая свою последнюю книгу прокламацией «страсти, требовательной и сложной» к своей стране, Бродель вскоре отстраняется, чтобы потребовать сторонний взгляд наблюдателя и избежать искушения идентификации.

Бродель это не Мишле, которым он восхищался, но которым он все же не хотел быть. Его четко объявленным намерением было создать историю, которая попыталась бы реконструировать свой объект, освободившись от привычек, приобретенных ценой серии определенных экспериментов. Погруженная в период большой длительности и посредством сравнительного подхода, «Ретроспектива Франции представляется здесь как лаборатория для экспериментов»²⁴. Точно так же, как Средиземноморье во времена Филиппа II или как пространство современного капитализма, история Франции остается для историка проблематичной реальностью, которую ему необходимо реконструировать.

Позвольте мне, подходя к концу, сравнить эти грандиозные труды с четырьмя томами «Истории Франции», которые мы с Андре Бюргьером редактировали в течение 1989-1993 гг. Надеюсь, что делаю я это без заносчивости, но с убеждением, что наш собственный проект является результатом тех же проблем, о которых я рассказывал выше²⁵. «*Histoire de la France*», а не «*Histoire de France*»: присоединение артикля «la» к имени собственному было способом напомнить что то, что составляло объект нашего исследования, а не отправную точку, – это сама Франция, совокупность и конструкция своего исторического опыта. Кроме того, мы хотели ясно порвать с повествованием-романом о нации, ставя вместо этого цель по разработке множественного опыта через серию тем: пространство, Государство, конфликты, формы культуры, – тем, казавшихся нам оригинальными конфигурациями, находимыми в настоящем и согласующимися с ретроспективным исследованием. Наконец, мы отодвинули гипотезу о единственной и единой хронологии, пытаюсь подчеркнуть существование различных темпоральностей и различные точки соприкосновения между ними, иногда очень древние, иногда весьма недавние, определяющие особенности французов. История, которую возможно конструировать, основываясь на таком исследовании, имеет мало общего с традиционной биографией Франции.

Еще слишком рано, конечно, чтобы подводить итог проектам, реализованным по горячим следам настоящего, даже если отношения, которые наше общество поддерживает со своей историей и со своей памятью, интенсивно трансформируются. И я, конечно, не уполномочен делать это. С другой стороны, можно представить себе, что и другие опыты уже в работе или скоро будут сделаны. Те, которые уже существуют, сильно отличаются друг от друга, в своих ожиданиях и анализе, в своих тематической и дискурсивной организации, и конечно, в своем стиле. Три последних –

²³ F. Braudel, *L'Identité de la France*, Paris, Arthaud, 1986, 3 vols.

²⁴ F. Braudel, *L'Identité*, cit., t. 1, *Espace et histoire*, p. 15.

²⁵ A. Burguière, J. Revel (eds.), *Histoire de la France*, Paris, Ed. du Seuil, 1989-1993, 4 vols.

Нора, Броделя и наш – имеют, несмотря на все свои различия, по крайней мере, одну общую характеристику, которой я и хочу завершить, поскольку она, возможно, выражает сущность того, что следует сегодня выделить.

Подходя к концу (временному, давайте не будем сомневаться в этом) долгого пути «Мест памяти», Пьер Нора спрашивал: «Как писать историю Франции?» сегодня²⁶. Такой вопрос может показаться риторическим, особенно в тот момент, когда, как мы уже рассказывали выше, попытки (писать историю – прим.перев.) снова умножаются, предполагая настоящее возвращение жанра, казавшегося забытым. Риторический, и все же он не является таковым, поскольку задаваться вопросами в таких терминах означает способ признать то, о чем идет речь, вне пределов жанра и формы. Это касается требования интеллигибельности, выражающееся во взрыве «необработанной» памяти, который мы сегодня констатируем – требования, которое она выражает и которое она не может удовлетворить. Отсюда вытекает для каждой из этих деятельностей убеждение в том, что идентичность Франции не может рассматриваться как определенность и еще меньше, как ответ, но должна пониматься как вопрос (чем она и является в повседневном опыте). В этом может быть и роль историка – удовлетворить этому требованию интеллигибельности, используя свой собственный инструментарий, такой как критика и анализ, а не подтасованная идентификация. В этом смысле умножение историй Франции, нарушающие законы жанра в конце этого века, не кажется мне национальным – или даже националистическим – самолюбованием, как иногда внушают некоторые²⁷. Таким образом, стало важным ответить именно на одновременный недостаток нации и перенасыщение памятью, поскольку мы сталкиваемся с требованиями настоящего. В момент, когда все вокруг вспоминают – иногда весьма справедливо – о долге памяти, возможно, будет не бесполезным напомнить о существовании и другого долга – долга истории.

²⁶ P. Nora, « Comment écrire l'histoire de France ? », in P. Nora, *Les Lieux de mémoire*, op. cit., III, *Les France*, Paris, 1992, vol. 1, p. 11-32.

²⁷ S. Englund, « The Gost of nation past », *Journal of Modern History*, LXIV, 1992, p. 299-320 ; *Id.*, « L'histoire des âges récents. *Les France* de P. Nora », *Politix*, 26, 1994.